ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН

ЛУМ-ЛУМ 5
ЖИВОЙ НЕМЕЦ 15
НЕУДАЧА ЭМИЛЯ ВАН ДЕН БЕРГЭ 32
ПОСЛЕ БИТВЫ 45
ВОПРОСЫ ЧЕСТИ 67
ВЕСНА 76
ТАВЕРНА В ТИЛЕ 84
СНОВА В ТИЛЕ 99
ЭТОТ ЧЕРТ БИГУДО 112
4 ЛОРАНО 4 121
АТАКА 136
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГАУПТВАХТЕ 149
ПОСТ № 6 177

СУДЬБА АНРИ ЛАМБЕРА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 211
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 395

Посвящаю моей жене, Э. Я. Финк

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН

ЛУМ-ЛУМ

Во вторую роту я попал случайно.

В феврале 1915 года мы, небольшой отряд однополчан-легионеров, возвращались на фронт из госпиталей. Всю дорогу мы веселились и пели песни. Поезд шел медленно, подолгу стоял на станциях, двести километров мы тащились почти сутки. Но всю дорогу мы веселились и пели песни.

Спускался вечер, когда нас высадили на станции Фим, километрах в двадцати от Реймса.

Так! Через Фим мы прибыли на фронт месяцев пять тому назад, через Фим нас эвакуировали после ранений, через Фим мы возвращаемся. Стало быть, полк все еще стоит на старом месте.

Было темно, когда мы перешли мост через Эну. Потом долго хлюпали по грязи и увязали в глине свекловичных полей. Офицер не умел читать карты, не находил дороги и кричал на проводника. Тот слушал равнодушно: он был из Легиона, плохо понимал по-французски и бормотал что-то на своем языке, которого мы не понимали, — по-моему, это был греческий.

Наконец раздалась команда «Рота, стой!» — и мы остановились. Пахло навозом. Внезапно шмыгнул луч карманного фонарика, мы увидели просторный двор, окруженный постройками. Это была ферма. Нас развели по сеновалам. Было тихо, и мы совсем близко слышали глухое уханье пушки и бред пулемета. Война лежала в нескольких километрах. Она тяжело дышала и ворочалась с боку на бок.

Было далеко до рассвета, когда нас подняли, разбили на небольшие группы, построили и скомандовали «шагом

марш». Мы шли гуськом, каждый держал переднего за полы шинели: стояла непроглядная темнота, ничего не было видно на шаг впереди. В отдалении изредка вспыхивали ракеты. В их мимолетном бледном сверкании мы начинали различать развалины. Это были развалины Борье. Так и есть, мы возвращались на старое место.

За околицей лежала широкая, но разбитая проезжая дорога. Мы шлепали по грязи не менее получаса и наконец увидели одинокое чугунное распятие. Влево от него редкие кусты кое-как прикрывали спуск в канаву. В канаве стояли солдаты. Проводник приказал позвать ротного писаря, передал ему четырех человек, меня в том числе, вручил документы и ушел с остальными. Я спросил, какая рота, — мне сказали, что вторая.

Скоро стало светать. Рассвет был оловянный, скучный. Я увидел впереди, на поле, одинокую скирду и четыре иссохших, скорбного вида дерева. Тогда я узнал всю местность. Разбитая дорога, которую мы только что пересекли, была Шмен де Дам. Вправо, километрах в сорока, лежал Реймс, на таком же расстоянии влево — Суассон, впереди, меньше чем в километре, — занятый неприятелем городок Краонна.

Я вспомнил, как однажды, до ранения, когда я еще служил в четвертой роте, наш командир, опальный маркиз, убежденный роялист, сказал нам, что считает за счастье охранять Шмен де Дам, Дорогу Дам, потому, что она была проложена для проезда Дам Франции — дочерей Людовика XV.

— Вы все-таки попали в бессмертные места, друзья мои, — прибавил он. — На этом плато, между Реймсом, Лаоном и Суассоном, развернулись величайшие события древней истории Франции. Здесь Юлий Цезарь разбил легионы галло-белгов. Здесь Кловис побил латинскую Галлию. Здесь протекала борьба между потомками Карла Великого и герцогами Франции. Здесь Гуго Капет основал королевскую династию.

Он прибавил, оглядывая нас своими близорукими глазами:

— Вы пришли сюда после легионов Рима, рыцарей Средневековья, ополчения Жанны д'Арк и мушкетеров Мазарини... Вы защищаете колыбель Франции и ее сердце!..

Боже, как это было красиво!

А тут кто-то из наших, какой-то студент-историк, вставил:

— Ровно сто лет тому назад, господин лейтенант, казаки Платова разбили именно здесь, под Краонной, гвардию Наполеона.

Маркиз хмыкнул в ответ что-то нечленораздельное: напоминание было не слишком тактично. Однако нас оно взволновало: какой неожиданный ход судьбы, как внезапно пролилась на нас слава русского оружия, как близко почувствовали мы дыхание далекой родины!

Я предавался этим романтическим воспоминаниям, когда меня и других трех новичков вызвал к себе для оформления ротный писарь. Я попросил перевести меня обратно в четвертую роту.

— Там у меня товарищи, — объяснил я.

Писарь был небольшого роста легионер с густой черной бородой и с шевронами сверхсрочного на рукаве. Он взглянул на меня смешливыми глазами и негромко сказал:

— Дорогой мой, если бы на фронте каждый мог выбрать себе место по вкусу, в нашей второй роте никого бы не осталось, все разъехались бы по домам. Вместе с товарищами. И не только в нашей славной второй роте, но на всей линии огня — как с французской, так и с немецкой стороны. В этом я могу вам поклясться бородой Магомета и своей собственной.

Он прибавил после небольшой паузы:

— Идите. Если на то будет господня воля, вам так же хорошо оторвет голову во второй роте, как в четвертой!

Он сказал это смеясь и сверкая крепкими зубами.

Я уже был у выхода, когда он остановил меня и прибавил:

— Имейте в виду: души наших праведных дураков из второй роты, погибших в бою, возвращаются в роту в облике новых дураков. Теперь вы будете легионером вплоть до Страшного суда. Идите!

Так я остался во второй роте.

Впрочем, я нашел здесь двух товарищей по университету — Наума Бейлина из Одессы и Ренэ Дериди. Ренэ был француз по рождению и воспитанию, но попал в Иностранный легион потому, что считался не то греком, не то португальцем по бумагам.

8

Моим соседом по месту у бойницы и в канье — так назывались на солдатском языке ямы для ночлега, выкопанные в стенке траншеи, — оказался кадровый легионер первого класса Пьер Бланшар. Это был рослый, сухопарый, но широкий в кости человек лет тридцати, с большими и сильными руками.

У Бланшара было прозвище Лум-Лум.

Адриен Бов, тоже кадровый легионер, объяснил мне:

— Это его бабы так прозвали. Из-за бороды.

Борода у Бланшара была в самом деле замечательная: она начиналась у самых глаз, разветвлялась на два клина и доходила до пояса.

Бов сказал, что на одном из арабских или негритянских наречий Лум-Лум значит козел.

Бов давал мне объяснения негромким голосом. У меня было впечатление, что он побаивается Бланшара. Он даже прибавил почтительным шепотом:

— Сегодня у него кафар. Знаешь, что это такое? Тоска... У него полный кафар!

И тут вошел командир роты, немолодой уже, огромного роста капитан.

— У кого это кафар? — спросил он густым, тягучим басом.

— У Бланшара, — сказал итальянец Пепино Антонелли, по прозванию Колючая Макарона.

— У Бланшара? — с ноткой сочувствия переспросил капитан. — У тебя кафар, Лум-Лум?

— Есть от чего, — ответил вместо Бланшара небольшого роста толстяк, фамилия которого была Франши, а прозвище Пузырь. — В тылу думают, что мы герои! Что мы покрыты рубцами и ранами! А у нас мясо всего только изъедено вшами! Ногтей не хватает рвать на себе мясо!

Капитан стоял, опершись на палку. Это был старый волк Легиона, Он пытался держаться непринужденно, но тоска грузно ворочалась и в его глазах. Она мешала ему.

— Вы начинаете думать, — вдруг выпалил он после долгого молчания, — что у вас не капитан, а старая кобыла, которая не знает дороги к неприятелю.

Все молчали.

— Вы считали, — продолжал капитан, — что война — это переходы по живописным местам, где хорошенькие бабенки поджидают вас на каждом повороте дороги. Вы

считали, что война — это горячие бои, шумные сражения, победы, ордена! А мы гнием в траншеях, и дальше ночных перестрелок дело не идет.

Он помолчал и продолжал после паузы:

— Мне жаль моих добрых легионеров, с которыми мы вместе мяли пески африканских пустынь. Верно, старики? Не к такой войне мы привыкли! И мне жаль волонтеров тоже. Они пришли в Легион с высокой и благородной идеей — защищать свободу и цивилизацию. Им надо видеть, какого цвета требуха у немцев. А немцы не показывают носа.

Он опять помолчал и продолжал после новой паузы:

— Так вот, дети, я скажу вам смешную вещь: это и есть современная война! Вместо храбрости теперь нужно терпение! Поняли? И не поддаваться тоске! Кафар — это морская болезнь солдата. Не поддаваться! Ясно? Идет весна. Весной мы пойдем к немцам в гости. Тем лучше будет для тех, кого мы не застанем дома!

Капитан ушел. Его речь, по-видимому, не произвела никакого впечатления.

— У него у самого кафар! — сказал Бов. — Стоит и мычит, и мычит... А у самого кафар! Разве я не вижу?

Было скучно. Весь день прошел скучно: вялая перестрелка с пехотой, потом вялая дуэль артиллеристов, потом резались в карты или спали.

Ночью поднялась тревога. В канью ворвался сержант.

— В ружье! Все в ружье!

Лум-Луму вставать, видимо, не хотелось.

— Что случилось? — проворчал он. — Чего ты опять взбесился? Чего ты спать не даешь, дьявол?

Он повернулся на бок и снова заснул.

Тут появился капрал по фамилии Миллэ и толкнул его ногой.

— Вставай, старая лошадь! Атака! — кричал он. — Немцы!

Мы выбежали в окоп и заняли боевые места.

Была темная ночь. Ветер приносил свежее дыхание незасеянного поля. Оно пахло диким маком.

Неясный стук слышался со стороны неприятеля. Видимо, немецкая рота вышла укреплять проволоку впереди своей линии. Сержант отдал команду стрелять. Мы стре-

ляли и слышали крики раненых. Но после нескольких залпов нас всех загнали в каньи, у бойниц были оставлены только дежурные: никакой атаки не было — обычная перестрелка, какие происходили каждую ночь и давно всем надоели.

Лум-Лум оказался проницательнее всего взвода — он преспокойно спал на своем месте.

Все отнеслись к этому безразлично, кроме капрала. Тот выходил из себя.

— Позор! — кричал он. — Бедная Франция, сколько у тебя трусов и бездельников! Едва наступает опасная минута, они ложатся спать! Товарищи идут повидаться с неприятелем, а эти видят ангелов во сне! И всегда одни и те же! Кто в Тонкине завалился в кабак, когда надо было защищать честь Франции? Мсье Бланшар! Кто дрыхнул в Аман-Исламе, когда подходили арабы? Мсье Бланшар! Всегда мсье Бланшар!

Со всех сторон кричали:

— Закрой хайло! У Лум-Лума кафар!

Но капрал не унимался.

— Бедная Франция! — бубнил он. — Она кормит легионера, она дает ему обмундирование и оружие, она ему доверяет, она полагается на него... А он ее обманывает...

Капрал был небольшого роста, голубоглазый блондин, тщательно выбритый, усики колечком, весь подтянутый, молодцеватый, кепи набекрень. Вся его внешность была вызовом: легионеры ходили грязные, обросшие, завшивевшие.

Со всех сторон ему кричали: «Молчи!», «Закрой хайло!» и «Не мешай спать!». Но он не умолкал. Он, правда, стал говорить тише, но все о том же: он объяснял своему соседу, что четвертый взвод самый несчастный и все будут перебиты до одного, потому что во взводе есть легионеры с беспокойной шкурой — она всегда дрожит.

— Он ищет драки, этот верблюд! — шепнул мне Бов. — Он видит, что на Лум-Лума навалился кафар, и задирает его. Разве это честно?.. Поганый верблюд с усиками! Вот бы кому надавать по морде!

Все примащивались поудобнее, собираясь спать. Лум-Лум спал. Так я по крайней мере думал. Но, оказывается, я ошибался. Он неожиданно встал, взял свой котелок, подо-

шел к неумолкавшему капралу, склонился над его изголовьем, поднес ему котелок ко рту и сказал:

— Выплюнь сразу все, что ты знаешь о трусах, и замолчи.

Бланшар говорил негромко, медленно, но что-то было особенное и страшное в его голосе, в его неторопливости, во всем его облике. Мы все оцепенели. В канье стало тихо. Тишина была напряженная, мрачная.

— Гром, сто чертей и веревка! — шепотом пробормотал Адриен Бов. — Сейчас пойдет кровь...

Но кровь не пошла. Лум-Лум совал капралу котелок, а капрал только отворачивался и отводил котелок руками. Лум-Лум даже довольно звучно ударил его краем своей посудины по зубам, а капрал только бубнил что-то вроде: «Довольно, Лум-Лум! Довольно! Иди спать, старик!» Он пытался все обратить в шутку. Все увидели, что капрал струсил, и повскакали с мест: каждый хотел взглянуть на него именно в такую минуту, когда он себя унизил трусостью. Я сразу понял это.

— Не тормошите капрала, уважаемые господа и дамы! — раздался громоподобный и насмешливый бас легионера Кюнза. — Возможно, ему надо переменить белье.

Все смеялись громким и счастливым смехом. Один Лум-Лум не смеялся. Я взглянул на него — мука ворочалась в его глазах. Он опустил веки, чтобы скрыть ее. Вот он повернулся, не торопясь прошел на свое место и лег. Через полминуты он храпел. Возможно, на сей раз он действительно спал.

Остаток ночи прошел спокойно. Утром Лум-Лум встал мрачный. Он обошел всю роту и у каждого выклянчивал коньяк-сырец, который нам выдавали в рационе. Напившись, он просидел весь день угрюмый и молчаливый.

Но и капрал ходил невеселый: ночью он потерпел большую утрату — он потерял престиж. К тому же ему вздуло губу. Это было клеймо позора. Оно лежало на лице.

В этот день была раздача хлеба, потом выплата жалованья, капралу некуда было укрыться, он был вынужден весь день вертеться во взводе, у всех на глазах.

— Эй ты, рыбья шкура! — опять окликнул его Кюнз. — Я тебя знаю столько лет, еще из Тонкина, но никогда не замечал, что у тебя верхняя губа настолько толще нижней! Прости меня, пожалуйста!

Его раскатистый хохот гремел, точно весь взвод бил в барабаны.

Миллэ хмуро молчал.

— Помесь шакала и гиены, — сказал Адриен Бов.

— Кто?

— Миллэ.

Я посмотрел на него вопросительно. Он пояснил:

— Бывает, встретишь парня и подумаешь — скотина и собачий сын... А потом оказывается — человек, и неплохой. Иной и сам того не знает, что он человек. Очень его в жизни крутило и вертело, ему и подумать некогда было о том, что он — человек... Но дай ты ему, ради бога, спокойный кусок хлеба, чтобы без хлопот и без страха, дай ему осмотреться, — так ведь золотая душа. Лум-Лум из таких. Сейчас у него кафар, сейчас ты его не трогай, но ты еще увидишь, что это за парень! А уж что касается капрала...

Бов продолжал после небольшой паузы:

— Я еще помню, как он постучался в ворота полка, в Сиди-Бель-Абессе. И через полгода он угодил в тюрьму: у него вышел разговор с одним кабатчиком в Сиди, и кабатчик умер от ран. Потом он вернулся в роту, и в Аннаме ему дали капральские нашивки: он сделан из той собачьей шкуры, из какой получаются капралы и сержанты. Но скоро он опять угодил под замок: безвременно погибла одна святая и достойная вдова. Она содержала солдатский публичный дом, и у нее водились деньги. Улики были против Миллэ. На этот раз его освободили раньше срока — он попросился в действующую армию.

— Таких бы надо резать по ночам на арабских кладбищах, — продолжал Бов после новой и хмурой паузы. — С этого надо бы начать. Прежде всего вывести на арабское кладбище и зарезать. А там видно будет! Ты знаешь, что он немец? Подумай только — немец, а сам попросился на войну против своего родного фатерланда... А почему? А потому, что ему все равно, против кого воевать, лишь бы воевать. Думаешь, их у нас мало таких в Легионе? Ой-ой-ой! Иной Франц или Фриц только отбудет воинскую повинность у себя в Германии — и сейчас же марш к нам в Легион. Почему? Ты спрашиваешь почему? Потому что работать, что-нибудь делать руками, ему скучно. Он любит носить оружие, и чтобы р-раз-два, р-раз-два — подавать команду,

подвинчивать усы колечком, — и чтоб за ним бабы бегали и дрожали. Конечно, это легче, чем стоять за верстаком. Главное — оружие, восемь пуль в стволе! Можно сразу накормить смертью восемь человек. Он этим гордится. Он думает, это ставит его выше других.

Бов раскурил трубку и как бы в заключение беседы прибавил:

— Такие всех задирают, всех они поучают, вечно они себя выставляют большими знатоками во всем, что касается храбрости и трусости. Так что, по-моему, не иначе как сама пречистая Дева Мария, матерь божия, дала ему по морде рукой Лум-Лума. Это она сама показала всему четвертому взводу, что не стоит бояться того, кто громко кричит и петушится и носит усы колечком. Раз по зубам — и в помещении стало тихо!..

После ужина, когда спустилась темнота, набирали охотников в разведку. Первым вызвался Лум-Лум.

Нам было поручено обследовать насыпь, которая, как говорили, неожиданно выросла между нашими и неприятельскими окопами. Предполагалось, что позади насыпи вырыта яма и там засел снайпер, который делал роте пакости.

Мы тихо ползли на брюхе и вскоре растеряли друг друга.

За насыпью никто не скрывался. Доползши до нее, я вскочил на ноги, высоко занес винтовку и с размаху опустил вниз. Там было пусто.

Сержант видел мой силуэт при вспышке ракеты и потом грозил посадить меня под арест за то, что я встал во весь рост.

— Он мог вас наколоть на штык, как сардинку! — кричал сержант. — Это ваше дело, конечно! Я не имею в виду шить себе башмаки из вашей шкуры, но вы могли выдать всю разведку, олух! Вы мне тут будете играть в храбрость, а я из-за вас весь взвод растеряю?!

Храбрость! Он никогда не узнал, что силы покинули меня в тот момент, когда я опустил штык в яму. В какое-то неуловимое, ничтожное деление секунды мне представилось, что в яме сидит такой же парень, как я, молодой и здоровый искатель восторгов. Я не смог его убить. Штык опустился беспомощно, как метелка.

Разведка прошла неинтересно. Мы вернулись продрогшие, грязные и злые. Лум-Лума не было с нами. Он явился

минут через десять после переклички и молча лег спать. Утром он орал на всю канью:

— Спросите у Миллэ, где его кепи! Ты его пропил? Отвечай! Ведь ты-то в разведку не ходил! Где ж твое кепи?

Миллэ уже давно хватился — у него действительно пропало кепи. Он искал где только было можно, но безрезультатно.

Лум-Лум хохотал во всю глотку.

— Разве это не горе — видеть легионера, к тому же капрала, которому Франция даже не может доверить кепи?! — орал он. — Как же ты теперь будешь без кепи? Подумайте только, господа военные, такая персона, сам капрал Миллэ, божок мамзелей, кумир всех шлюх Франции и колоний, светоч ума, родной брат свиного рыла, — и вдруг без кепи? Где же ты теперь будешь вшей держать? Об этом ты подумал?

Внезапно он вытолкнул Миллэ из каньи в траншею, подхватил под руки меня, Бова и позвал всех остальных.

— Смотрите, ребята! — кричал он. — Смотрите прямо на немецкую траншею. Два пальца влево от крайнего дерева. Есть?

Мы увидели вдали, у самой немецкой проволоки, французское кепи, надетое на штык. Штык был воткнут в труп немецкого солдата.

— Ты хорошо видишь, Миллэ? Есть кепи для тебя! — орал Лум-Лум. — Ставлю два литра против пустого стакана, что оно тебе будет по мерке! Тебе надо только потрудиться сходить за ним! Что тебе стоит?

Миллэ угрюмо молчал. А Лум-Лум веселился:

— Только когда пойдешь, голубчик Миллэ, оставь кому-нибудь штаны на хранение, а то испортишь казенные штаны.

День опять прошел без событий. Моросил мелкий дождь. Было скучно.

Вечером Лум-Лум был снова пьян и грустен. Он сидел на мешке с хлебом и угрюмо пел на жаргоне североафриканских колоний песню с припевом: «Сунь свой зад в котел! Скажешь мне потом, горячо ли тебе было». О минувшей ночи он не хотел рассказывать. Когда Миллэ, вернувшись с дежурства, ложился спать, Лум-Лум вынул из кармана немецкие ефрейторские нашивки и бросил ему.

— На, голубчик Миллэ, — сказал он. — Иди отдай их тому немцу и отбери у него свое кепи.

Он обвел канью грустным взглядом, допил остаток вина из кружки и лег спать.

У него был кафар.

ЖИВОЙ НЕМЕЦ

Почти перед самым рассветом батальон уходил на очередной отдых в лесок Блан-Саблон. В ходах сообщения была давка и сутолока.

В поле раздался одинокий выстрел. Послышался сдавленный крик.

— Наши хозяйничают! — сказал кто-то. — Разведка!

Через несколько минут пронесся слух, что разведка вернулась невредима и даже привела пленного. Выйдя из траншеи на дорогу, я видел, как в головную часть отряда побежало трое, из них один безоружный. Это вели пленного. Лица его мы не видели — утро едва зарождалось...

Сбросив ранец в Блан-Саблоне, я отправился в тыловую деревушку Кюри к зубному врачу. Направление было и у Лум-Лума. Мы пошли вместе.

У самой деревушки, не заходя в околоток, Лум-Лум завернул от церкви направо за угол, в переулок.

— Надо немного почиститься, — сказал он, — а то неловко, у них тут, в тылу, все ходят щеголями, а мы, смотри, на кого похожи.

Он поднялся на две каменные ступеньки и открыл дверь, гостеприимство которой знали все проходившие здесь полки. Молодая вдова быстро собрала нам поесть. Две бутылки вина выросли перед нами, хозяйка присела к нашему столу, и жизнь совершенно незаметно, как-то сама по себе, стала становиться прекрасной. Лум-Лум обнимал хозяйку, щекотал ее, целовал за ушком, потом вызвался наколоть ей дров, и они покинули меня не меньше чем на час. Потом мы выпили еще по бутылке. Лум-Лум пришел в состояние полного благодушия и стал умолять меня, чтобы я, не стыдясь, сознался, что у себя на родине я, как все в России, питался сальными свечами и пил керосин. Он заклинал меня знаменами Легиона, деревянной рукой капитана Данжу, погиб-

шего в Камероне, и памятью убитых товарищей. Я в конце концов сознался. Хозяйка пришла в бешеный восторг.

— Как это красиво, что даже дикие народы пришли защищать Францию! — воскликнула она и принесла еще литр красного.

Ничто чудесное не бывает длительно. Мы вспомнили про врача и отправились в околоток.

— Почиститься мы так и не успели, — сказал я Лум-Луму.

Но это его не смутило.

— Плевать я на них хотел, на тыловых щеголей! — сказал он пренебрежительно. — Пускай видят, как выглядят добрые бородачи, сидящие под огнем в траншеях!

Врач сразу понял многое по нашему виду.

— Вы, однако, расторопные легионеры! — сказал он. — Еще рано, а вы уже пьяные.

— Надо же было немного промочить глотки, господин доктор! — сказал Лум-Лум заплетающимся языком. — Жарко, песок бьет в рот! Пересыхает в горле! Понятно?

— Это ж где жарко? Какой песок бьет вам в рот? Легионер, вы не заметили, что на дворе грязь?

— Конечно, господин доктор, — уже икая, отвечал Лум-Лум, — конечно, грязь. Я ведь не спорю. Но когда я говорю «жарко» и «песок», я имею в виду Бель-Абесс в Северной Африке, где стоит наш гарнизон. А здесь, конечно, грязь. Но вот этот легионер второго класса, — сказал он, указывая на меня, — он, видите ли, мечтает свернуть себе шею за Францию. Он затем и пришел в Легион. Что вы хотите, он русский, у него даже имя чисто русское — его зовут Самовар. Это у них вроде как у нас, скажем, Жан или Пьер. И он происходит от белого медведя. У них в семье все дети — медведи. Шесть душ! И все белые. Неудивительно, что ему жарко в нашем климате. Вот я и разрешил ему выпить глоток красного — жалко было смотреть, парень пропадал от жажды.

Всякому было бы совершенно ясно, что сейчас мы отправимся под арест не меньше чем на две недели и что Лум-Лум носит свою нашивку солдата первого класса в последний раз.

Но врач оказался чудаковатым малым. Он вырвал зуб мне, вырвал зуб Лум-Луму и дал каждому из нас по три

франка на вино. При этом он порекомендовал нам зайти в некий гостеприимный дом, от церкви за угол направо, в переулке, две каменные ступеньки вверх... Там есть добрая женская душа, и мы сможем подкрепиться.

Так и есть, мы попали обратно к вдове.

Все началось с самого начала. Опять появилось на столе вино, Лум-Лум опять увел вдову колоть дрова.

Я бросил шинель на скамейку и успел изрядно выспаться, раньше чем они вернулись. Мы наполнили вином свои двухлитровые африканские баклаги и наконец отправились назад, в роту.

Лум-Лум был пьян. Кроме того, его совершенно разморило от усталости и восторга. Он обнимал меня, целовал и стал горланить знаменитую песню колониальной пехоты:

Жила на свете прачка,
Она белье всем мыла,
А муж стоял с ней рядом
И подавал крахмал.

Жила на свете швейка,
Она белье всем шила,
А муж сидел с ней рядом
И петельки метал.

Безумье — в бабьи страсти
Запутывать себя!
— Солдат, коль хочешь счастья,
Люби всегда шутя.

В изменчивой сей жизни
Твое занятье — бой!
Сжимай винтовку крепче
И песни громче пой.

Лум-Лум не пел, он горланил. Вид у него был неважный. Идти дорогой нам было невыгодно: первый встречный сержант мог отвести нас под арест. Я решил, что надо свернуть в лес.

В лесу Лум-Лум перестал петь. Мне даже показалось, что у него прошел хмель. Он сделался сосредоточен и хмур и стал рассказывать о себе. Навело его на откровенность воспоминание о гостеприимной вдове.

— Понимаешь, она страшно похожа на мою жену, на Луизу, которую я едва не искрошил топором. Да, старина, я все больше убеждаюсь, что это все-таки было глупо с моей стороны. Мы жили с ней в Белльвилле, как голубки, и могли бы так жить еще сто лет, если бы не этот Итальянец. Понимаешь, завелся итальянец! Чуть я из дому — он в дом! Чуть я из дому — он в дом! Ну, я раз побил ему морду, ну, два! Однако не могу же я каждый день подкарауливать его и бить — ведь мне работать надо. Ведь я плотник, не правда ли? Ну и что ты думаешь? Прихожу однажды вечером домой, а мои голубчики сидят растерянные и неодетые. Тут у меня кровь прямо вмиг свернулась в сыворотку, и я как схватил топор да как пошел крошить... Покуда не прибыла полиция и не увела меня, я продолжал работать топором. Я даже не заметил, что их самих оттащили соседи и что я крошу только мебель. Правда, им тоже попало, тем голубчикам. Все-таки повалялись они в больнице. Конечно, меня судили. Но присяжные поняли, что я не злой малый, — всякий поступил бы на моем месте точно так же... Меня отпустили...

Я уже успел полюбить Лум-Лума. Меня привлекали его душевная прямота, его мужество, к его солдатской грубости примешивалась какая-то скрытая мука. Я полюбил Лум-Лума.

— Давай, старик, присядем покурим, — предложил я.

— Давай, — согласился Лум-Лум и сразу плюхнулся наземь. — Кстати, объясни мне: зачем ты пришел в Легион? Ты и все остальные русские волонтеры? Откуда вас взялось столько дураков у господа бога? Был бы ты один. Ну, нашелся бы еще один. Наконец, еще три... Но ведь вас тысячи. Неужели вы все такие идиоты там у вас, в России? Расскажи мне подробно.

— Долго рассказывать, — ответил я.

— Но ты хоть одно объясни: верно, что вы защищаете право и цивилизацию?

— Верно.

— Значит, как раз поэтому вам и надо видеть, какого цвета требуха у немцев?

— Да, примерно так.

Он был озадачен и, подумав, спросил: